

...И за то, что суждено мне было изведать всю редкостную красоту некоторых, земных, но определенных, полагаю, небесами, дружб – и суждено было услышать от некоторых, чрезвычайно дорогих для меня людей, важнейшие для меня слова о том, как воспринимают они написанное мною, – я несказанно благодарен судьбе, время от времени укреплявшей мой дух такими дарами.

Лучше всех, пожалуй, и, как это всегда у нее получалось, кратко и точно, в форме своеобразного изречения, определила суть моих стихов незабвенная Мария Николаевна Изергина:

– Стихи Владимира Алейникова я очень люблю и для меня они лучшее, что сейчас пишется. Что меня больше всего привлекает в его стихах, это – свет.

Сформулировано ею это было в восьмидесятых, многожды высказано прилюдно, при большом, как тогда еще довольно часто бывало, скоплении народа, в ее кокетельском доме, на знаменитой веранде, перевидавшей все и всех, потом – записано.

Однако о том, что она постоянно ощущает исходящий из моих стихов свет, стала говорить она еще со времени нашего знакомства, вскоре переросшего в долголетнюю прочную дружбу, то есть еще со знаменательного для меня лета шестьдесят пятого.

Особенный этот свет, который она так верно ощущала всем своим существом, помогал ей жить – так она говорила.

А прожила она девяносто три с половиной года, и вдосталь было в ее жизни и сложностей, и трагедий.

Поразительно стойкий человек!

А какое чутье – на слово, на звучание его, на каждую новую краску, на тон, на ритм, на дыхание, на тот синтез, который так определяет вообще все и столь важен в искусстве, на интонации, на все те откровения и открытия, которых она так всегда ждала от речи!

Я знаю, что понять мои стихи помогло ей – отчасти, конечно, и все-таки, это важно, то, что она прекрасно знала музыку, сама была очень хорошей певицей и музыкантшей.

Но и не только это. Помогало и другое.

Важна была, так сказать, закваска. Воспитание. Образованность. Реакция на хорошее и плохое. Мгновенная отзывчивость на подлинное искусство.

А еще важна была – ее неудержимая тяга к свету, сквозь все невзгоды собственной, сложной, рано изуродованной революцией, гражданской войной, сталинщиной и минувшим режимом, но все равно, несмотря на пережитые драмы и трагедии, чистой, возвышенной, насыщенной событиями, полноценной, плодотворной, в прямом смысле этого слова – творческой, прекрасной жизни.

Мария Николаевна, сколько ее помню, никогда никому ни на что не жаловалась, всеми силами

стремилась никогда никому не быть в тягость, никогда никого не поучала, не учила жить.

Она сама была дивным примером жизнелюбия и жизнотворчества, она всегда шла по своему собственному, когда-то избранному ею, пути, и это был – именно Путь.

Она была человеком волошинского круга.

В коктебельском мире она была – Мусей, так звал ее Волошин, и волошинские акварели, именно с таким обращением к ней в дарственных надписях, висели на стенах в ее доме, – тогда как ее старинная подруга, вдова Волошина, Мария Степановна, была – Марусей.

Были у Марии Николаевны и еще две давние подруги – Надежда Януарьевна Рыкова, поэтесса и переводчица, и Анастасия Ивановна Цветаева, младшая сестра Марины Цветаевой.

Постоянно окружали ее и другие, довольно многие, достаточно близкие ей люди.

Она дружила с Григорием Николаевичем Петниковым, жившим в Старом Крыму и навевывавшимся в Коктебель, настоящим и тонким, с ведическим мироощущением, почему-то недооцененным, как это у нас в стране сплошь и рядом бывает, поэтом, другом Хлебникова, человеком образованным, деликатным, ясным, особенным и для меня самого человеком, о котором я обязательно еще скажу.

Мы, коктебельцы, когда-то – сами еще молодые, в прежние годы ходили, бывало, в Старый Крым пешком.

Это был один из своеобразных коктебельских ритуалов. Полагалось тогда, будучи в Коктебеле, хотя бы разок сходить в Старый Крым.

Надо сказать, пешие эти прогулки – многого стоили. И все они – в памяти.

Мы собирались небольшой группой – и отправлялись в путь, по горам, среди киммерийской природы.

И Мария Николаевна всегда передавала привет Петникову.

И я заходил к Григорию Николаевичу – и обязательно передавал ему этот привет.

И Петников – мгновенно, прямо на глазах, – весь расцветал. Действительно, расцветал. Глаза его начинали вдруг лучиться, лицо преображалось, черты лица становились мягче.

Он оживал, молодел. Голос его теплел, в нем про- скальзывали нотки волнения.

Он улыбался по-юношески, даже по-детски, наивно, смущенно, радостно, искренне, распахнуто как-то, светло.

Он ликовал – так мне казалось.

Он, старокрымский затворник, явно дорожил этими приветам.

Он дорожил дружбой с Марией Николаевной. Более того: он гордился этой дружбой.

Сама же Мария Николаевна говорила о Петникове с неизменным пиететом, всегда выделяя его из числа остальных своих знакомых – тех, из старшего поколения.

Говорила она о Петникове – всегда с особым теплом, и даже с любовью, – ну конечно, с нею – дружеской, человеческой любовью.

Все, как обычно это бывало у нее, сводилось к сжатой, четкой формуле:

– Григорий Николаевич – настоящий поэт. Образованный человек. Талантливый. Воспитан. Учив с дамами. Внимателен. Мы с ним очень дружим. Давно дружим.

Порой вспоминала слова Петникова:

– Писать – легко. Вычеркивать трудно!

Я замечал, что, говоря о Петникове, Мария Николаевна и сама всегда преображалась.

И она вдруг хорошела, молодела, словно озарялась вспыхнувшим негаданно ясным светом.

В голосе ее звучали не просто теплые интонации, но – мелодия, мелодия нежности.

А глаза – многое говорили они без слов, эти ее выразительнейшие, сияющие глаза.

Возможно, это была не просто дружба двух людей старшего поколения, а более глубокая, более крепкая, более важная связь двух душ, двух сердец.

Вспоминаю забавные рассказы Марии Николаевны о том, как, в начале двадцатых годов, живя в доме у Волошина, они с Надеждой Януарьевной Рыковой, две подруги, обе задорные, острые на язык, донимали Брюсова своими, вроде бы и наивными, невинными, но на поверку – не просто колкими, острыми, а, скорее, жалящими придирадками, всяческими вопросами, довольно жесткими суждениями – и доводили его буквально до бешенства, – причем объединенному и целенаправленному напору их сам Брюсов, как это ни удивительно, при его-то всегдашней готовности к полемике, и противопоставить-то ничего толком не мог, – а только, слушая их, терялся, тушевался, раздражался и в итоге пасовал, сдавался.

Молодое поколение, в лице двух юных дам, обезоруживало его и побеждало.

Хотя и сам ведь Брюсов был далеко еще не старик. Ну сколько ему было тогда – лет пятьдесят? А вот выдохся, видно, в прежних дебатах и боях. Состарился преждевременно. Внутренне. Душевно. И пороха, нужного для полемики запала – уже не хватало у него.

Может быть, он действительно был уже дряхлым, опустошенным, уставшим от всего и всех человеком.

Вспоминаю забавные рассказы Марии Николаевны о том, как, в начале двадцатых годов, живя в доме у Волошина, они с Надеждой Януарьевной Рыковой, две подруги, обе зазорные, острые на язык, донимали Брюсова своими, вроде бы и наивными, невинными, но на поверку – не просто колкими, острыми, а, скорее, жалищими придирами, всяческими вопросами, довольно жесткими суждениями – и доводили его буквально до бешенства.

Стоит вспомнить здесь его попытки приспособиться, подладиться к советской власти. Стоит вспомнить чрезмерно бурную его деятельность на культурном фронте, о которой так хорошо написал Ходасевич, а еще лучше – Марина Цветаева.

Ну и, конечно, пристрастие Брюсова к наркотикам, к морфию, сказалось на общем состоянии его организма.

Вскоре после поездки в Коктебель Брюсов умер.

Мария Николаевна, вспоминая молодые свои, на пару с Рыковой, перепалки с ним, подзуживания, выпады, розыгрыши, даже сожалела, бывало, – уж не послужили ли их коkteбельские атаки на служащего советской власти вождя символистов хотя бы одной из причин, хотя бы косвенной причиной смерти его, неожиданной для всех?

Нет, конечно, – успокаивала она сама себя. Причина была в другом. В том, что Брюсов был уже весь

разрушен – и физически, и духовно – разрушен. Что поделаешь? Как ведет себя человек в жизни – очень важно. Это прямым образом сказывается и на творчестве его, если это человек творческий, и на судьбе.

Острый же язычок Марии Николаевны проявлялся порою и жалил кого полагается – и в последующие годы.

Некоторые выпады ее, тирады и характеристики различных, попавшихся к ней на язык, как говорится, персонажей – бывали блестящими, собранно-меткими, били в точку, несколькими характерными, обдуманно штрихами давали такой портрет конкретного человека, что это надолго запоминалось.

Никогда Мария Николаевна этим не злоупотребляла. Но было это – оружие. И все ее знакомые прекрасно об этом знали.

Помню Анастасию Ивановну Цветаеву – худенькую, светящуюся грустным и ясным светом памяти своей и судьбы, с развевающимися на коктебельском ветерке белыми волосами, – и эти прикосновения приморского ветерка, бриза, – молодили ее, и в лице ее, худом, живом, словно пульсирующем от избытка силой воли сдерживаемых чувств и эмоций – угадывались порою и черты лица старшей ее сестры.

Помню лежащие грудками в комнате Марии Николаевны, и на рояле, и вокруг него, письма и открытки Анастасии Ивановны, ее дарственные надписи на журнальных публикациях и книгах, – довольно крупный, неровный, корявый, валкий, но – упорный, весь в движении, устремленный вперед, негибкий почерк.

Переписку они поддерживали довольно интенсивно. Она была продолжением их бесед, с годами – все более редких, но это и понятно – почему так получалось.

В письмах Анастасии Ивановны были рассказы о своем житье-бытье, просьбы, рекомендации для собиравшихся приехать к Марии Николаевне знакомых, сообщения о своих литературных делах, о том, чем занята, что она пишет, а главным был тон, из которого следовало, что жизнь – замечательная штука, и надо в этой жизни и по-настоящему дружить, и много работать.

Некоторые кусочки из цветаевских писем, под настроение, Мария Николаевна, случалось, зачитывала мне вслух.

В голосе ее звучала тогда – любовь.

Она любила Цветаевых, обеих. Любила вообще все, что связано было с обеими сестрами. Любила поэзию Марины Цветаевой. Иногда, редко, после чтения цветаевских стихов, ворчала:

– Кликлуша!
Ворчала – любя.
И тут же все ставила на свои места:
– Но какой поэт!..
Она любила и Ахматову. Очень любила. И – в разговорах со мною – иногда вроде бы и отдавала ей предпочтение. Но именно – вроде бы.

Любила она стихи обеих – и Цветаевой, и Ахматовой.

С Ахматовой была она знакома. В комнате Марии Николаевны всегда висела ее фотография.

Между прочим, рассказывала мне Мария Николаевна, что приходилось ей стоять, в тридцатых годах, в Ленинграде, вместе с Анной Андреевной, – в очередях, тех самых, тюремных, из ахматовского «Реквиема» – помните?

«Показать бы тебе, насмешнице и любимице всех друзей, Царскосельской веселой грешнице, что случится с жизнью твоей, – как трехсотая, с передачей, под Крестами будешь стоять и своею слезой горячую новогодний лед прожигать. Там тюремный тополь качается, и ни звука – а сколько там неповинных жизней кончается...»

Это там, именно в этих очередях, – было то, о чем Ахматова пишет в предисловии к «Реквиему»:

«В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то “опознал” меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом):

– А это вы можете описать?

И я сказала:

– Могу.

Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом».

И с Павлом Николаевичем Лукницким, человеком, создавшим летопись жизни и творчества Николая Гумилева, а потом собиравшим и систематизировавшим материалы о жизни и творчестве Анны Ахматовой, в молодости дружила Мария Николаевна.

Помню старую фотографию: вместе с широко улыбающимся красавцем, Павлом Лукницким, плывут в лодочке две красавицы-сестры Изергины.

Мария Николаевна иногда Лукницкого вспоминала. Говорила о нем:

– Прекрасный человек. Из культурной семьи. Дворянин.

Или, с явным, гордым одобрением в голосе:

– В Александровском корпусе учился. В Пажеском корпусе учился. Красив был – невообразимо!..

И, словно резюмируя:

– Молодец! Многие для русской культуры сделал!..

Ее общение с людьми было вообще очень широким.

В этом, с годами все расширяющемся, означенном светом высокой духовности круге находились и прекрасно уживались представители сразу нескольких поколений, от стариков до зеленой молодежи.

Помню на веранде у Марии Николаевны скульптора Анатолия Ивановича Григорьева – скульптора очень серьезного, очень крупного, – и, как это ни досадно, все еще должным образом не оцененного, хотя многообразное и сложное творчество его давно говорит само за себя.

Надо – смотреть и видеть. Но еще и – увидеть. И понять. Искусство – может подождать, конечно. Может – ждать. Годами. Десятилетиями. И даже веками.

Если оно настоящее, то – увидят, наконец. И поймут, даст Бог. Так и будет – потом, в грядущем.

Но – насколько же лучше стали бы люди, если бы они многое увидели и поняли – вовремя!

Григорьев довольно долго пробыл в сталинских лагерях.

Огромное количество его работ – погибло.

Его пасынок, Юра Арндт, рассказывал мне, что одиннадцать грузовиков работ григорьевских были в свое время вывезены из мастерской его и оставлены где-то на хранение, да там и сгинули.

Григорьев был женат на Ариадне Александровне Арндт, представительнице знаменитой династии врачей, когда-то – выходцев из Швеции, давно обрусевших, – и один из Арндтов лечил Пушкина.

Ариадна Александровна сама была великолепным скульптором.

А еще она была – старинной, близкой подругой Марии Николаевны Изергиной.

Григорьев и Арндт построили себе дом в Коктебеле, дом с двумя небольшими мастерскими. Они жили здесь подолгу – и оба много работали.

В период СМОГа, весной шестьдесят пятого года, скульптор Геннадий Бессарабский познакомил меня с Григорьевым.

Анатолий Иванович звал меня к себе в Коктебель: – Приезжайте, Володя! Будете жить у нас.

Я был изгнан из московского университета. Многие мне сочувствовали. Известность моя в Москве была тогда велика.

Григорьеву очень нравились мои стихи. Он слушал, как я их читал, в мастерской Гены Бессарабского, при свечах, где Гена сидел в своем инвалидном кресле чуть в стороне от всех, а за длинным

деревянным столом сидели Генина жена, Маша, поразительной доброты и внутреннего света женщина, и Григорьев, живо реагирующий на каждое слово стихов, небольшой, но такой уж ладный, что хотелось сказать – крепенький, в очках, поблескивающих отсветами мерцающих свечей, с несколько всклокоченной бородкой, и слушал стихи, и всплескивал руками, и все звал меня к себе:

– Приезжайте к нам! У нас вам будет хорошо, Володя!..

Но я уехал тогда на Тамань, в археологическую экспедицию. Меня вела – судьба.

Беспокоить своим присутствием в доме двух пожилых людей – Анатолия Ивановича и Ариадну Александровну – я стеснялся.

В Коктебеле – заходил к ним, тогда, когда удавалось вырваться из экспедиции, ненадолго, – в Крым, в том же шестьдесят пятом. Да и позже навещал двух этих замечательных скульпторов.

Так получилось, что с Григорьевым был я знаком даже немного раньше, чем с Марией Николаевной Изергиной. Но – все в том же, столь значимом для меня, шестьдесят пятом году.

Вспоминаю Ариадну Александровну Арндт, сидящую в инвалидном кресле, в своем кокетельском доме, тихую, светлую, поднимающую к людям, к солнцу свое открытое миру и свету, судьбе и творчеству, прекрасное, исполненное благородства и внимания, чистое лицо, ее чуткий, полный участия ко всему происходящему в доме и бесконечного терпения, очень ясный, все запоминающий взгляд, выражение глаз ее – горестное и радостное, ее седые, убранные назад, волосы, ее крепкие, крупные, сильные руки – рабочие руки, руки мастера, ее прямой, как у Гете, нос, ее густые брови и высокий, чуть загорелый лоб, вспоминаю исходящую от нее, от всей ее фигуры, от этой породистой головы, от этих творческих рук, этих творческих глаз, силу, силу воли, силу духа, силу верности избранному Пути, – и снова, как и больше тридцати лет назад, восхищаюсь красотой ее, да и красотой всех этих кокетельских людей – и мужа Ариадны Александровны, Анатолия Ивановича Григорьева, тоже красивого ведь человека, и подруги Арндтов – Марии Николаевны Изергиной, и Надежды Януарьевны Рыковой, и Анастасии Ивановны Цветаевой, и Марии Степановны Волошиной, – красотой – людей волошинского круга, красотой – словно сотворенной и благословленной самим Волошиным.

Григорьев захаживал к Марии Николаевне на ранду. Они были почти ровесниками. Анатолий Ива-

нович был на год старше. Он мог ходить – потому и приходил порой сюда, один.

А вот Ариадну Александровну надо было – навещать. Что и делала Мария Николаевна с большой охотой, навещая свою подругу Алю на протяжении долгих лет.

Дружба Арндтов – так все называли эту супружескую пару – с Марией Николаевной – целая эпопея. Или, скорее, летопись. Во всяком случае – это одна из важных страниц в истории русской культуры.

И чрезвычайно важно было бы, если бы сын Ариадны Александровны, Юрий Арндт, сам обо всем этом рассказал.

В моем кокетельском доме есть каталог произведений Ариадны Александровны, каталог ее выставки.

На титульном листе – надпись:

«Дорогому Владимиру Алейникову, одареннейшему поэту, сердечно, А. Арндт, Ю. Арндт. 23.IX.1991».

Две подписи. Григорьева тогда уже не было в живых.

Ариадна Александровна написала воспоминания о некоторых близких ей людях, начиная с Волошина.

Пора и Юре писать свои воспоминания. Ей-богу, пора!..

По складу ума своего была Мария Николаевна Изергина независимой в суждениях, сдержанной в выражении собственных чувств, но была и удивительно внимательной к окружающим ее людям, даже порой готовой к самопожертвованию, способной на все одним махом решающие поступки.

Нередко она первой делала шаг навстречу новому для нее человеку, угадав в нем то, что считала подлинным.

Так, в годы моей молодости, навсегда связанной с Коктебелем, было и со мной.

Наша встреча оказалась для обоих – знаковой.

Очень многому я у нее научился. Просто очень многому. Перечислять, чему именно, я не стану. Это – в памяти, в сердце, в душе. Поверьте на слово.

Очень многое, с огромным тактом, ненавязчиво, но и целенаправленно, зная, что будет это мне только на пользу, дала она мне.

По натуре была она, конечно, мистиком – не за нудным, западного толка, а настолько оригинальным и тонким, не зависимым ни от кого, была – сама по себе, со своими парадоксами, прозрениями, выводами, проникновениями в тайное, которое так любила она превращать в явь, что и сопоставить-то не с кем.

По натуре была она, конечно, мистиком – не занудным, западного толка, а настолько оригинальным и тонким, не зависимым ни от кого, была – сама по себе, со своими парадоксами, прозрениями, выводами, проникновениями в тайное, которое так любила она превращать в явь, что и сопоставить – то не с кем. Она порой казалась мне ведической богиней Явью, а дом ее – храмом Яви.

Она порой казалась мне ведической богиней Явью, а дом ее – храмом Яви. Потому что ее Явь, ее настоящее – оказывались вне категорий, изобиловали жизнетворной энергией бытия.

Была она отменно образованна. Всегда приятно это подчеркнуть. Читала и говорила на нескольких языках.

В семье у них все были образованными людьми.

Семья жила в Симферополе, в собственном доме. Имелось и загородное поместье.

Отец Марии Николаевны родом был из Тверской губернии, занимал какую-то важную должность в Крыму.

Вспоминая своего отца, Мария Николаевна непременно подчеркивала, как он, позаимствовав понравившееся ему изречение у кого-то из древних, любил приговаривать:

– Там, где я, – нет провинции!

Этим лишний раз давал он понять окружающим, что умный и способный человек, живя в любом месте российской державы, всегда найдет применение

своим способностям и силам – на пользу отечеству, разумеется.

Отец состоял на государственной службе и с обязанностями своими, судя по всему, справлялся прекрасно.

Да и в общественной жизни Крыма, и в культурной жизни процветавшего до революции полуострова был он фигурой заметной.

А мать Марии Николаевны, красавица-англичанка, занималась воспитанием детей – двоих дочерей.

Надо сказать, это ей удалось.

Обе сестры Изергины были начитанны, образованны, музыкальны, с малых лет владели иностранными языками, обе тяготели к искусству, – будучи при этом обе хороши собою, прелестны, обаятельны, талантливы и умны.

Младшая сестра Марии Николаевны в дальнейшем была известным искусствоведом, долго работала в Эрмитаже.

Мария Николаевна была известной певицей. Голос у нее был просто чудесным – настоящее сопрано. Кроме того, была она и прекрасной пианисткой, аккомпаниатором.

Она работала в театре, позднее – преподавателем музыки и пения в разных музыкальных учебных заведениях.

До войны – училась и работала. Во время войны – постоянно бывала с концертами на фронте. После войны – опять работала.

Году в пятьдесят седьмом она окончательно поселилась в Коктебеле. Построила себе дом.

Главнейшим же даром Марии Николаевны – был дар общения с людьми. Он заключал в себе поистине уникальный синтез – всех искусств, человеческих способностей, дарований, качеств и достоинств, ума, такта, обаяния, понимания людей – и еще столько-го, всякого, самого разного, соединенного воедино, параллельного и сопутствующего, врожденного и приобретенного в результате жизненного опыта, что лучше вовремя прекратить – хотя бы пока что, на некоторое время, – уже назревающий перечень многих выдающихся достоинств этой женщины.

Итак, семья Изергиных жила в Симферополе.

О том, что значила для этой благополучной, счастливой семьи смена власти в стране и сколько бед всем им пришлось претерпеть, я распространяться не стану.

Вспомню лучше рассказанный мне однажды Марией Николаевной эпизод из времен Гражданской войны.

Мать Марии Николаевны была женщиной с очень развитым чувством собственного достоинства, с яс-

ным умом и твердым характером. В любой жизненной ситуации она оставалась верна своим принципам и не теряла присутствия духа.

Случилось так, что в симферопольский дом к Изергиным нагрянул, неожиданно для всех, отряд красноармейцев с жестким предписанием реквизировать имущество у буржуев.

Красноармейцы вели себя вызывающе. Всем видом своим они словно показывали: ну вот сейчас вы свое получите!

Особенно преуспел в этом командир отряда, молодой парень вполне заурядного, простецкого вида.

Он прямо-таки пылал ненавистью к буржуям и эксплуататорам трудового народа, просто изнывал от нетерпения – немедленно начать отбирать все подряд. Он так горел этим желанием – реквизировать все имущество в ненавистном ему доме, у неизвестных ему, но тоже ненавистных, каких-то там Изергиных, что, казалось, вот-вот вспыхнет, как сухой хворост или как спичка. Он то бледнел, то багровел – то ли от повышенного осознания им своего революционного долга, то ли от ярости и гнева.

Он желал – отобрать все, до последней ниточки. Для дела революции, понятно. Не для себя же. Он был революционный идеалист. Встречались тогда и такие, и в немалом числе.

Он был грозен в своем порыве. Его уже несло. Он кричал. Он надвигался на Изергиных, крича и ругаясь. Он не владел собой. Ему надо было – действовать!

Сестры Изергины под натиском ворвавшихся в их дом чудовищ растерянно жались к роялю. От отчаяния они готовы были зарыдать. Но они сдерживали себя. Они были – Изергины. Нельзя было показывать революционной солдатне свою слабость.

Их мать, красивая, статная, неподвижно стояла посреди комнаты.

Командир отряда вплотную придвинулся к ней и торжествуя сказал:

– Ну, все. Начинаем! Вон сколько здесь добра!

Мать Марии Николаевны спокойно сказала ему:

– У меня есть охранная грамота!

Тот запнулся, насторожился:

– Где? Как? Почему это? А ну, покажите!

Мать, ни на секунду не теряя самообладания, держась, по возможности, уверенно, независимо, а по привычке – прямо, с достоинством, подошла к секретеру, выдвинула неторопливо ящик, вынула оттуда первую попавшуюся бумажку, какую-то старую квитанцию, – и протянула ее командиру:

– Вот, пожалуйста! Читайте!

Тот схватил протянутую ему бумажку и впился в нее глазами.

И вдруг он покраснел, как-то замялся, ступешался, сник.

Что вело эту смелую женщину? Что заставило ее так рисковать? Каким чутьем поняла она, что командир красноармейцев – неграмотен? Трудно сказать. Думаю, было это наитие. Даже озарение.

А теперь она твердо знала: этот простецкий с виду молодой парень – совершенно точно не умеет читать!

Командир отряда поводил по бумажке глазами, повертел ее в руках, нарочито придирчиво присмотрелся к имевшейся на бумажке печати, пошевелил зачем-то губами, будто еще раз внимательно читая текст, – да и протянул эту заваливающую в ящике секретера старую квитанцию молча стоящей перед ним прямой и стройной даме:

– Все в порядке! Охранная грамота на имущество имеется. Извиняйте за беспокойство.

Мать Марии Николаевны невозмутимо взяла бумажку и положила ее обратно в секретер. Задвинув поплотнее ящик, она повернулась к командиру красноармейцев и внимательно, с укором, посмотрела на него.

Тот окончательно смутился. Надо было срочно выпутываться из создавшегося неловкого положения.

– Хлопцы! – стараясь придать своему срывающемуся голосу должную уверенность, обратился он к ожидающему его команды отряду. – Ошибочка вышла. Айда отсюда!

И отряд, громыхая по полу сапогами и прикладывая винтовок, удалился из дома.

Громко хлопнула за ними входная дверь – и все затихло. Сестры Изергины потрясенно смотрели на мать.

Мать – смотрела на дочерей.

Потом она снова достала спасшую их случайную квитанцию.

Все вместе, втроем, они стояли и смотрели на эту бумажку. Это была – немая сцена, прямо как в спектакле.

Некоторое время длилось общее их молчание.

И только потом все трое дружно расхохотались.

Смех смехом, а дом был спасен.

Пока что спасен. А потом...

Еще эпизод, из той же эпохи.

Юная Мария Николаевна ехала в поезде.

Зачем-то понадобилось ехать.

Ехала она всего-то – от Симферополя до Бахчи-

сарая. Но – в битком набитом людьми вагоне, и даже не в вагоне, а в тамбуре. Ехала она целый день.

И в этом тамбуре так плотно стояли пассажиры, со своими мешками и вещами, что, попытавшись хоть немножко продвинуться вперед и подняв ногу, Мария Николаевна уже не сумела поставить ее обратно на пол: места не было.

Так и простояла она, целый день, до самого Бахчисарая, на одной ноге.

Когда-то, очень давно, в юности или даже в отрочестве, Марии Николаевне гадала цыганка.

Эта цыганка нагадала, что проживет Мария Николаевна девяносто три года.

Об этом необычном, странном гадании много раз Мария Николаевна вспоминала.

И ведь в самом деле, гадание отдавало пророчеством.

Так ведь все и случилось.

Мария Николаевна, получается, словно закодировала себя на все свои годы. И прожила действительно девяносто три года. Еще и на полгода больше – из упрямства ли, вопреки ли конкретике предсказания, или просто – от рисковости, бывшей в ее характере, – ну прямо как ее мать, протянувшая командиру красноармейского отряда вместо охранной грамоты случайную бумажку, или еще по какой причине, – уж и не знаю, – но это была Мария Николаевна, а не кто-нибудь, и она и в этом отчасти победила судьбу, и воля ее оказалась сильнее воли цыганки-гадалки.

Мария Николаевна была настоящей дамой, – той, прежней еще, самой крепкой, закалки.

Передать это я даже и не берусь.

Это следовало видеть самому, это надо было оценить, почувствовать.

Сколько шарма и всепокоряющего обаяния таилось в этой невысокой, до глубокой старости стройной, с прекрасными манерами, с прямой спиной, с открытым, лучистым взглядом голубых глаз, с изящными маленькими руками, с чудесными пушистыми волосами, и вовсе не хрупкой, нет, крепенькой, ладной, пропорционально сложенной женщине, которую и язык-то ни у кого не поднимался назвать старухой!

Какая там еще старуха? Чуть!

Молодость, вечная, как весна, всегда жила в ней. Она умела быть естественной в отношениях абсолютно со всеми, сразу находила общий язык и с теми умниками из интеллигентской среды, что называются высоколобыми, и с местными жителями, и со старинной ее, задушевной приятельницей,

молочницей Клавой, добрых сорок лет, наверное, приносившей к ней на веранду свежее, недавно надоенное молоко и страсть как любившей присесть ненадолго, потолковать о том о сем.

Вот уж кто любил Марию Николаевну – так это Клава.

Иногда я вижу ее в поселке.

Клава, женщина простая, деревенская, истовая труженица, одна, без давно умершего мужа, вытаскивающая на своих плечах огромное свое хозяйство, в котором, помимо целого стада коров, есть еще и всякая домашняя птица, и кабаны, и кошки, и собаки, Клава, работающая, год за годом, от зари и до зари, и вместе с тем натура еще и романтическая, поэтическая, потому что, разыскивая порой своих разбредшихся по окрестным холмам коров, любит она думать свои думы, провожает улетающих на юг журавлей, сочиняет даже собственные песни – и поет их, там, подальше от всех, на холмах, для души, – Клава, человек очень хороший, верный Марии Николаевне человек, вспоминает ее с такой любовью, с такой нежностью, находит для выражения своих мыслей и обуревающих ее чувств такие светлые, предельно искренние, глубокие и добрые слова, что у меня порой слезы наворачиваются на глаза, когда я слушаю ее сбивчивые, но просто потрясающие меня своей откровенностью и неугасимой любовью речи.

Вот что значит душевная связь, незаметно, да зато уж навсегда, переросшая в духовную!

И все это – Мария Николаевна. Ее воздействие. И ее свет.

Иногда мне кажется, что она все видела насквозь.

Когда-то сказанное ею – сбывается.

Все связанное с нею – с годами обретает особый, более глубокий смысл.

В конце ноября девяносто первого года сидим мы вдвоем у Марии Николаевны на веранде, беседуем потихоньку.

Речь зашла об архетипах.

Мария Николаевна:

– Вот, кстати, об архетипе. Мария Степановна Волошина. Помните ее, Володя?

Я:

– Ну еще бы!

Мария Николаевна:

– Так вот что я вам скажу. Мария Степановна взяла на себя роль Бабы-яги. Да-да. Сидит в избушке. То есть у себя в доме. В своем доме. В волошинском доме. В Доме Поэта. Сидит, охраняет дом. Сохраняет дом. Кому хочу – открою, захочу – не пушу никого!

– А ведь точно! – согласился я. – Каково ей было все сберець в целости и сохранности? Ведь дру-гого такого, до любой мелочи сохраненного, дома – нигде больше в мире нет.

Мария Николаевна:

– Помните эту историю с дамой, этакой из себя, женой какого-то крупного партийного чиновника, той, что рвалась в Дом Поэта, прямо-таки с боем рвалась, – посмотреть «руку Волошина»? И Мария Степановна ее – не пустила!

– Помню, – сказал я.

– Баба-яга! – убежденно сказала Мария Николаевна. – Была Мария Степановна – Баба-Яга. Настоящая. Хорошая Баба-яга. Потому все и уцелело. Вот вам и архетип!

Как то об одном нашем общем знакомом, человеке маленького роста:

– Все маленькие мужички – Наполеончики. Маленькие Наполеончики. Уж я-то знаю. Навидалась. Повадки, амбиции – Наполеончиковые!.. И этот гражданин – вылитый Наполеончик!..

И опять – абсолютно верно.

Максимилиана Александровича Волошина знала Мария Николаевна с детства.

Волошин часто бывал в доме у Изергиных, в Симферополе.

В Коктебеле в первый раз побывала Мария Николаевна в двадцать первом году.

Жила она, разумеется, у Волошина.

Было голодно. Иногда – очень голодно.

В поселке имелась столовая. Там давали обеды – Волошину и его матери, которую все звали Пра.

Иногда в этой столовой кормили обедами и Марию Николаевну. И случалось даже, что выдавали, в дополнение к скудному обеду, по два куска хлеба, намазанного соленым смальцем. Роскошь! Деликатес!

Мария Николаевна, семнадцатилетняя, вечно полуголодная, так мечтала всегда – откусить, хоть немножко попробовать, хоть самую малость, чуть-чуть – откусить этого редкостного яства!

Но всегда – сдерживала себя. Проявляла силу воли.

И приносила этот намазанный смальцем хлеб – изумленному Волошину.

Что тут скажешь? Характер!

Зимними вечерами, живя в Коктебеле, оставаясь в своем доме совсем одна, садилась, бывало, Мария Николаевна за рояль – и пела, аккомпанируя себе, романсы. Для себя. Для души.

А иногда пела – «для Маруси». То есть для Марии Степановны Волошиной.

В Доме Поэта сохранились магнитофонные записи ее голоса.

Да и в первое наше знакомство – Мария Николаевна пела.

Я приехал с друзьями из экспедиции, с Тамани. Направились мы напрямик в волошинский дом. А там – обе подруги: и Маруся, и Муся.

Лето шестьдесят пятого. Июнь. Море за окном волошинской мастерской. Листва за окном гостиной. Рояль.

И – голос Марии Николаевны. Дивное, светящееся сопрано.

Сколько лет уж прошло с тех пор – а так и звучит в душе этот голос...

Или это – свет?..

Она чуяла свет, потому что была с ним в родстве.

Мне, в письме:

«Дорогой Володя! Спасибо вам за светлое письмо.

Помните, что я ваши стихи очень люблю. Они светлые и вы в них никогда не поете. Я очень не люблю и меня раздражает это повальное трагедийное нытье и просто нытье. То, что вы прислали мне – прелестное стихотворение».

Мне моря грезятся незримые круги...

Элегия о счастье Коктебеля...

Мария Николаевна, лет двадцать, пожалуй, назад, – мне:

– Очень рада, что вы живете в ладу и с Людой, и с жизнью.

И я этому ладу – рад.

Ее внимание к людям, ее участие в их жизни, ее верность своему окружению – оказались благотворными для нескольких поколений коктебельцев, перемывавших в ее доме.

Ее мистичность была для нее столь же органичной, сколь и практическая жилка, а вернее, то умение выживать, которому она вынуждена была научиться.

Ее отношение к каждому прожитому дню, каждому событию, каждому знакомому человеку было настолько своеобразным и каким-то доверительно-предопределенным, что можно было поверить: из ничего, на пустом месте, просто ради торжества жизни и человеческой радости, она способна вырастить цветок, или сад, с виноградными лозами, на которых зреют тяжелые, сочные гроздья, со знаменитыми розами «Глория Дей», похожими на благоухающие частицы солнца, с роскошно цветущей дымчато-лиловатыми кистями, невероятной, всюду разросшейся глицинией, раскинувшейся над домом, она способна была сама – творить.

Вот что произошло со мной месяц назад.

Сказать об этом надо, потому что это очень даже в духе Марии Николаевны и лишний раз говорит о ее присутствии в мире.

Я работал над этой книгой.

Как-то все не клеилось, мысли расползались, голова побаливала.

Бывают такие состояния, когда пишешь большую вещь, – промежуточные, с раскачкой, с желанием перевести дух, а там как Бог даст, авось все и сдвинется с места, и пойдет сызнова.

Это еще и пограничные состояния, очень интересные сами по себе, когда, несмотря на замедленность работы, конкретного дела твоего, все внутри тебя обострено, все нервы, все клетки твои почему-то обладают повышенной чувствительностью, и ты понимаешь, что так надо, что состояние такое – почва для нового рывка, для подъема духа, и надо просто ждать.

Так вот, я томился чем-то, маялся, чего-то ждал.

И вдруг я ощутил словно некий зов.

Я почувствовал внутренний толчок, у меня сразу сильнее забилося сердце.

Мне тут же, незамедлительно, захотелось разыскать фотографии Марии Николаевны. Они находились где-то здесь, в моих бумагах, среди всех этих повсюду лежащих ворохов.

Я стал искать фотографии. Перерыл все бумажные груды. И нашел их – одну фотографию шестьдесят пятого года, как раз того времени, когда мы с Марией Николаевной познакомились, и три фотографии девяностых годов, очень хорошие, где образ ее был так выразителен. Я поставил эти фотографии перед собою, стал разглядывать их.

Я смотрел на Марию Николаевну. Мне казалось, что я разговариваю с нею, как и прежде, еще сравнительно недавно, на протяжении тридцати четырех лет. Я слышал ее голос, видел ее глаза.

И тогда я сел за стол и набело записал довольно большой кусок прозы – о ней. Писал я, все время видя ее перед собой.

Происходило все это днем. Когда я закончил писать и опомнился, в окне было темно и стоял глухой вечер.

Я вышел во двор.

На западе, за Тепсенем, где находится коктейльское кладбище, в небе, совсем низко над землей, над отдаленными кряжами, несмотря на все сгущающуюся темноту, горела ровная, чистая полоса розовато-оранжевого, с золотистым искрением, ясного, не собирающегося угасать, света, – а чуть повыше в небе, но в том же направлении, сияла

крупная, лучистая вечерняя звезда, на которую – я тут же вспомнил об этом – так любила смотреть из своего заполненного разнообразной разросшейся зеленью двора Мария Николаевна.

В чем же дело? Что за совпадения?

Все это – не случайно.

Я возвратился в дом, закурил и стал, довольно мучительно, потому что время, когда я помногу работаю, как-то смещается всегда у меня, движется с причудами, по-особенному, – припоминать, какое же нынче число. И вспомнил. Было двадцать девятое июня.

Ровно год назад мы в этот день захоронили на коктейльском кладбище, среди могил старых коктейльцев, урну с прахом Марии Николаевны, и народу там было немного, но зато все свои, и служил священник, и люди говорили хорошие слова, а потом, все вместе, пришли мы к Юре Арендту, где помянули Марию Николаевну, и тоже некоторые славные люди говорили о ней, и все мы вспоминали ее, и на открытой с одной стороны, просторной веранде, где мы сидели, прямо перед нами, на стене, была прикреплена фотография Марии Николаевны, тоже девяностых годов, напоминающая те, что есть у меня, что стоят и сейчас рядом.

Это ее, Марии Николаевны, был зов.

Это от нее шел ко мне творческий импульс.

Это стало мне ясно, как Божий день.

А сегодня, тридцатого июля, я переписываю фрагмент своей книги, те строки, где говорю я о Марии Николаевне, и отчетливо осознаю, почему я делаю это: завтра – тридцать первое июля, день ее рождения под знаком Льва, ей исполнилось бы девяносто пять лет.

Вот такие у нас в Коктебеле, с его особенной мистикой, бывают истории.

Все здесь взаимосвязано, как и в поэзии, все происходит не напрасно, все на своем месте здесь во времени и пространстве, и всему этому объяснение – коктейльский живучий Дух.

Вижу вас, милая, дорогая вы моя Мария Николаевна, вижу вас, там, в вашей большой, затененной комнате, вижу вас – читающей книгу, вообще читающей, всегда читающей – на тех языках, которые вы знали, а вот вы за роялем, а вот поете – редкостный голос, настоящее сопрано, а вот вы на своей веранде, где длинный деревянный стол, и деревянные скамьи по трем сторонам от него, и самодельный абажур, и всякие картинки на стенах, а там, в доме, – фотографии дорогих вам людей: очень немногие – висят, остальные, многие, – убраны, но иногда достаются, переосматриваются, и письма – тоже там, в доме,

в вашей комнате, письма – от самых разных людей, с которыми вы дружите давно, с которыми вы хорошо знакомы, с которыми вы познакомились недавно, когда они были здесь, у вас, – письма, сложенные в аккуратные стопочки, разобранные по адресатам, по годам, – и вы их тоже иногда достааете, перечитываете, да и прячете обратно, – или отвечаете своим корреспондентам, исписывая листочки-четвертушки почтовой бумаги своим очень разборчивым, неторопливым почерком, вкладываете эти листочки в заранее припасенные конверты, чтобы завтра отнести на почту, или там же, у себя в комнате, записываете вы в большеформатные тетради события и впечатления дня – одно за другим, в столбец, лаконично, четко, – привычка, но зато потом, через годы, посмотрите под настроение, что там, в этих ваших дневниках, – и сразу же отчетливо вспоминается то, что было, – и уже вечереет, но еще не вечер, скоро соберутся гости, пойдут опять разговоры, но это уж как всегда, а главное – всем здесь, у вас, хорошо, все здесь как дома, а вот утро, и вы выходите на веранду, хозяйка неповторимого, незабываемого дома, и пьете свой традиционный кофе, а по привычке, еще до завтрака, – принимаете памирское, прямо оттуда, с гор, неочищенное, натуральное, мумие, и вы оживаетесь, входите в день, выходите в свой сад, и на душе у вас покойно, и вы улыбаетесь, глаза чуть сощурены, в уголках их, под ними и во все стороны от них – веерообразные морщинки, и губы полуоткрыты, зубы целехоньки и белехоньки, лицо загорелое, головка точеная, во всей фигуре – собранность, стать, и только волосы, белые ваши волосы, легчайшие, пушистые, – вы уже перестали их подкрашивать, надоело, белейшие, ковыльные ваши волосы окаймляют ваше лицо, ваши глаза, вашу улыбку, взлетают под ветром, струятся, прилипают к загорелой коже, раскидываются вокруг вас, как будто это сам солнечный свет, его струение, сияние, и в мире воцаряется лад, и так в нем светло, и так всегда радостно быть вот здесь, вместе с вами, посреди лета, посреди света, рядом.

Она тоже была человеком самиздата – и это еще более нас с нею сближало.

Мы оба были старинные единомышленники, почти заговорщики.

Она читала – все, знала – все.

Любой мало-мальски приличный поэт или прозаик, музыкант или артист, любой деятель искусства, оказавшийся в Коктебеле, считал своим долгом нанести ей визит. Хотя в девяти случаях из десяти уместнее было бы сказать: прийти на поклон.

Она разбиралась, ох как разбиралась и в текстах, и в людях.

Далеко не каждому был открыт ее дом.

Она была принципиальна. Иногда, вдруг, по наитию, – прорицала. Холодом прошибало тогда оторпевших гостей.

Она была бесконечно добра к своим любимцам, но и вообще была добра к людям, в целом, несмотря на тяжелый свой жизненный опыт.

Феноменальным был ее выбор, отбор, везде и во всем: самое главное, самая суть, самое – то, и навсегда.

Она была в доску своей среди нашей неофициальной, богемной пишущей и рисующей публики.

Человек самиздата, собрала она большой архив, и в нем представлены были практически все чего-то да стоящие авторы.

У нее хранилось множество моих самиздатовских сборников, рукописей, рисунков.

Она берегла эти бумаги, держала отдельно от прочих, постоянно и внимательно перечитывала.

Она – из любви своей к моим стихам – собрала, отобрала все эти мои бумаги в свое, удельное, владение.

Она никогда не разрешала выносить эти тексты из дома.

Она вообще мало кому позволяла к ним прикасаться.

Она словно ревновала их к другим людям.

И если на папках с текстами разных других авторов были просто написаны их фамилии, то на папках с моими стихами ее рукою было крупно выведено: «Мой Алейников».

Частенько, чтобы или подразнить, или раззадорить, или осадить, или раз и навсегда поставить кого-то на место, подчеркивала она, адресуясь к гостям своим, в основном и пишущим стихи или прозу, свое особенное отношение ко мне, выделяемость ею меня из других, непохожесть на других, обособленность среди других, и это всегда действовало.

Была она человеком собственных принципов и ясной для нее, прочной позиции в жизни, с любыми ее градациями, от повседневности до высоких материй, до парения духа.

А насколько, при всей своей твердости, порой и властности, была она женственной, была женщиной, поистине прекрасной, с головы до ног, обаятельной, даже больше, обладающей той особой притягательностью, за которой встает – тайна.

Судя по фотографиям, в молодости была она удивительно хороша собою.

Невысокая, вся такая ладная, все в ней пропорционально, ну, миловидная, и все в ней, вроде бы, как у всех, но – нет, не как у всех, а все – свое, собственное, а за светлым обlikом ее – скрытый от лишнего глаз и все же раскрывающийся тем, кому она верила, внутренний ее образ, духовный.

Диво дивное, да и только.

Бывают же такие чудесные люди!

Она радовалась моим, наконец-то вышедшим одна за другую и незамедлительно подаренным ей, с соответствующими теплыми надписями, книгам, – радовалась так, как не радовался, наверное, я сам.

Она постоянно держала их при себе. Никому не давала читать, даже на короткое время.

Она читала их, читала, перечитывала, она вчитывалась в тексты так, что я начинал понимать: это часть и ее жизни.

Это было – ее, родное.

А как она любила и умела слушать стихи!

Мало кому это дано.

Уговорит почитать, бывало. Сидим у нее на веранде. Я – перед нею. Она – напротив. Я читаю ей.

И вижу, краем зрения – вижу: все в ней вдруг раскрывается – глаза, все лицо, губы, она вся – слух, вся – внимание, порыв навстречу звуку, слову, и я чувствую, как стихи входят в нее, как она воспринимает их по-особому, всем, что есть в ней, движением всей фигуры ее, как-то откинутой, свободно приподнятой над прямоугольником стола, как у певчих птиц, и руки, жесты их – певучие, и это отключение себя от всего остального, лишнего, мешающего слушать, это переключение себя только на музыку стихов, на звучащую речь, эта замороженность звуком, песней, восторг, за которым – громадная память, в ней все и останется, эта ее радость общения, с глазу на глаз, один на один, и внимание, внимание, а за ним – редчайшее понимание, такое, ради чего жить стоит, – забываемо!

Несколько позже, в начале девяностых, уже хорошо изучив мои изданные книги, она развила свою, приведенную выше, мысль, записала ее на случайном листке и отдала мне.

Вот эти ее слова:

– На фоне поэтического нитя стихи Владимира Алейникова, даже печальные, прямо-таки благовестят о свете и радости. Для меня они волшебные. Их не надо объяснять, их надо слушать.

В середине девяностых, там же, у себя на веранде, разом прекратив нелепые, раздражившие ее споры молодежи о том, кто есть кто в поэзии, – она решительно изрекла:

– Алейников – русский поэт, потому что он мыслит по-русски.

Вот что она понимала куда лучше других!

И наконец, уже незадолго до смерти, году в девяносто седьмом, она, постаревшая после перенесенного инсульта и несколько от этого напряженная, но по-прежнему внутренне собранная, малоразговорчивая, но мыслящая на удивление отчетливо и ясно, как и всегда, читавшая опять у себя в комнате мои книги, вышла вдруг на веранду, к гостям, к своим постояльцам, с палочкой, спокойная, светлая, вся – свет, белые волосы вразлет, голова вскинута, помедлила, а потом ясно и просто сказала:

– Алейников в поэзии – гений.

Господи, Мария Николаевна!..

Нет ее теперь в Коктебеле – и что-то очень существенное ушло, и наследники продали дом, а новые владельцы вознамерились построить новый, в стиле новых русских, и распорядились сломать тот, незабвенный, столь дорогой для нас всех, и почему-то очень долго его ломали, никак не хотел он исчезать – да потому, что велика там была концентрация духа, огромна была накопленная почти за сорок лет энергия, – и разрешили эти новые владельцы окрестным жителям, всяким хватким теткам, забрать все, что приглянется, – не только мебель, утварь, но и книги, и бумаги, и вообще все, что находилось в изергинском доме, – те и стали тащить, увозили добро тачками, машинами, несли на руках, и все растащили, совершенно, все, – и образовалось на месте дорогого дома – чудовищное зияние, и засохла от обиды оставленная было для красоты глициния, захирел сад, оставленный на хранение соседям рояль пожирают жуки-древоточцы, сложенные во дворе стройматериалы потихоньку разворовали, дохнуло таким запустением, что сердце сжималось, когда увидишь его, – но ведь это была Мария Николаевна, и это была особая коктебельская мистика, а потому далеко идущие планы новых владельцев рухнули в одночасье, грянул гром, разразился прошлогодний августовский кризис, деньги в банке у новых владельцев «накрылись», строительство нового их дворца заглохло – да и вряд ли будет возведен на этом вот оскверненном месте достойный дом! – а тот, прежний, дом Марии Николаевны, ее дом, всех нас – дом, жив, существует, пусть и в памяти, но он есть, потому что жив и дух Коктебеля, – и порой идем мы вдвоем с закадычным моим и самым верным другом, большим, десятилетним эрдельтерьером Ишкой, Ивасиком, которого так любила Мария Николаевна, и сам он очень ее любил,

идем мы с ним возле Долинного переулка, где был дорогой для нас дом, – и вдруг Ишка вытягивает голову, напрягается, вглядывается вперед, а потом, натягивая поводок, рвется туда, к Марии Николаевне, оглядывается на меня – ну идем, идем туда скорее! – словно чувствует что-то впереди, и тянет меня туда, спешит, и я иду за ним, и вот мы приходим – на руины радости...

И все-таки верю я, что в эти минуты Мария Николаевна – именно там, с нами, у себя, в своем доме.

Белые волосы вьются, плещутся на ветерке. Поднята высоко и гордо точеная голова. И улыбка – ну кто еще так улыбался? И эти глаза, голубые, с прищуром.

Вот она машет рукой. Сейчас услышу и голос. Ну, здравствуйте.

– Вы ждете?

– Да.

– Вы рады?

– Да.

– Вы бессмертны?

– Да.

Легкая, ладная. Светлая, светлая.

Горлицы кличут, и собираются в небе, клубясь, облака, с картин Богаевского прямоком переходят в небо над нами, и над Святой горою плотная шапка облачка, будет дождь, будет плач, будет радость в природе, пахнет сизой полынью, пахнут розы, склоняясь над низкой оградой, будет дождь, по холмам порывавшим проходят лиловые тени, серебром растекаются заросли диких маслин, пробивается солнце сквозь вязкую мглу над расплеснутым чашею морем, будет новая жизнь, будет свет над седой головой.

Будет все, что должно обязательно быть, что не может не быть, будет мир над землей благодатной, и воскреснет, я знаю, благословенный ваш дом.

Смотрит на меня с фотографий Мария Николаевна, внимательно смотрит.

И я смотрю на нее.

Она жива. В Коктебеле вечер. Поют сверчки и цикады. Звезды совсем близко, за ветвями деревьев. Собирался было дождь, но прошел стороной. Тепло и тихо, темно и светло.

Слышу ее голос. Она просит меня почитать ей стихи.

Никто нам не мешает. Мы вдвоем среди этого летнего вечера.

Да, Мария Николаевна, я почитаю вам.

Вот хотя бы это, написанное летом шестидесяти пятого года, когда, познакомившись с вами, я впервые побывал в вашем доме, стихотворение.

Вы пришли в Дом Волошина, где мы четверо – я, Михаил Соколов, Аркадий Пахов и Фергес Фрейзер – приехавшие с Тамани, прямо из археологической экспедиции, усталые, худые, молодые, сидели у Марии Степановны Волошиной, – помните?

Мы разговорились тогда, и мне даже не показалось, и не подумалось, а поверилось, что знаком я с вами давным-давно.

Вы пели тогда. Как вы пели! Мы слушали, слушали вас. Близился вечер, нам надо было где-нибудь переночевать. Михалика и Фергеса оставила у себя Мария Степановна.

А меня с Аркадием вы повели к себе.

И сейчас я до секунды, отчетливо, помню поразительное ощущение от ночлега в вашем доме – душевный покой, веяние свободы, распахнутое на юг окошко, ночной ливень, утреннюю свежесть окружающего мира и вашего сада, с ясной синевой и умытой зеленью в окне, с заглядывающими в комнату золотистыми розами, – и вас, улыбающуюся мне, говорящую утренние добрые слова, и весь этот коктейльский день с вами, и вечер, и чувство светлой радости, охватившее меня, измотанного тяжелыми для меня событиями после разгрома СМОГа, измученного неопределенностью моего существования, но спасающегося, как всегда, творчеством.

– Когда, раскрывая окно, мы слышим кружение влаги...

Да, строй был рожден именно тогда, летом шестидесяти пятого. Книга, так и называемая, «Лето 65», была написана. Все это вы прекрасно помните, как и все последующие чтения стихов из этой и из других моих книг – здесь, на вашей веранде.

Но давайте-ка вместе с вами перенесемся сразу в девяносто первый год, когда, поселившись в Коктебеле, я писал «Скифские хроники».

Вы были тогда первой слушательницей и читательницей этих стихов, и дружили мы с вами уже двадцать шесть лет, – вот ведь как время шло. Зато вы были совсем рядом.

Тирсы Вакховых спутников помню и я, все в плетке и листе виноградной, – прозревал я их там, где встречались друзья в толчее коктейльской отрядной. Что жигуха нескладная – ладно, потом, на досуге авось разберемся, вывих духа тугим перевяжем жгутом, помолчим или вдруг рассеемся. Это позже – рассеемся по миру вдрызг, позабудем обиды и дружбы, на соленом ветру, среди хлещущих брызг, отстоим свои долгие службы. Это позже – то смерти пойдут косяком, то увечья, а то и забвенья, это позже – эпоха сухим костяком потеснит и смутит

вдохновенье. А пока что – нам выпала радость одна, небывалое выдалось лето, – пьем до дна мы – и музыка наша хмельная там, где песенка общая спета. И не чуем, что рядом – печали гуртом, и не видим, хоть вроде пытливы, как отчетливо все, что случится потом, отражает зеркало залива.

Ну вот еще это стихотворение, вы любите его.

Оно – о самом важном для меня и для вас, о том, что в искусстве – навсегда.

Откуда бы музыке взяться опять? – оттуда, откуда всегда внезапно умеет она возникать – не часто, а так, иногда. Откуда бы ей нисходить, объясни? – не надо, я знаю и так на рейде разбухшие эти огни и якоря двойственный знак. И кто мне подскажет, откуда плывет, неся паруса на весу, в сиянье и мраке оркестр или флот, прощальную славя красу? Не надо подсказок, – я слишком знаком с таким, что другим не дано, – и снова с ее колдовским языком и речь, и судьба заодно. Мы спаяны с нею – и вот на плаву, меж почвой и сферой небес, я воздух вдыхаю, которым живу, в котором пока не исчез. Я ветер глотаю, пропахший тоской, и взор устремляю к луне, – и все корабли из пучины морской поднимутся разом ко мне. И все, кто воскресли в соленой тиши и вышли наверх из кают, стоят и во имя бессмертной души безмолвную песню поют. И песня растет и врывается в грудь, значенья и смысла полна, – и вот раскрывается давняя суть звучанья на все времена.

Я немного устал, простите, Мария Николаевна. Передохну. Отвык читать. Не то что в прежние годы. Вы знаете. И простите меня, пожалуйста, за то, что в девяностых, когда мы с вами жили так близко друг от друга и так часто виделись, не всегда я откликался на ваши просьбы почитать вам стихи. Отнекивался, чудак, – мол, потом как-нибудь. Вы – понимали. Вздыхали и ждали. Это «потом» тянулось годами. Вы, любившая слушать мои стихи с голоса, читали их с листа, в моих книгах. И только изредка я словно спохватывался и читал вам. Ах, как вы слушали! Как не хватает мне вас теперь.

Вспомнил сейчас: читал я у вас вот это стихотворение, только что прочитанное, и у вас были люди на веранде, и кто-то с видеокамерой записал это чтение, – и, наверное, кассета с этой записью есть у этого кого-то, но мы-то с вами так ее и не видели. Так вот всегда и бывало у нас с вами. У кого-то есть наши фотографии, где мы вместе, рядом. У кого-то – еще что-то. А что у нас? У нас, Мария Николаевна, есть нечто неизмеримо большее – наше

общение, которого теперь, это уже совершенно отчетливо ясно, ничем не заменишь, наша с вами дружба, которая для меня свята.

Что? Уже и полночь миновала? Вот ведь как бывает, за разговором. Ну, вот и ваш день. Тридцать первое июля. Поздравляю вас с девяностопятилетием. Для вас это не возраст. Вы для меня всегда молоды и светлы. Улыбаетесь? Но это правда. Я знаю, вы живы. Дай вам Бог еще долгих лет жизни – в памяти людской. И мне вы желаете того же? Спасибо. Я хорошо помню все, что говорили вы мне на протяжении тридцати трех лет наших встреч. Да, я постараюсь еще пожить и поработать. Надо еще очень многое сделать.

Вы спрашиваете меня об этой вот моей книге прозы? Да, я пишу ее. И напишу. Как и остальные книги об ушедшей эпохе и населяющих ее людях. Вы ведь хорошо меня знаете, я максималист. Замыслы всегда у меня огромные. Вот, с Божьей помощью, и воплощаю их в слове – простите за высокий стиль. Я не просто должен, я обязан написать эти свои книги прозы. Больше некому, говорите? Это уж точно. Верите, что напишу их? Да, это важно для меня.

Спрашиваете, пишу ли я и стихи сейчас? Да, пишу. Головы на все не хватает. Вот, получилась тут нелепость. Хотел недавно посмотреть начало новой книги стихов. То, что я мыслю книгами, вы знаете. Стал искать – нет рукописи, нет, и все тут. И то ли я ее в Москве забыл, то ли потерял, не соображу никак. Голова этой моей прозой занята, и я все время вроде как в другом измерении пребываю, там, в речи прозы, которую слышу и записываю по-своему, потому что свое у нее дыхание, свой ритм. А тут потянуло к стихам. Но где их взять? Хорошо, старые мои криворожские друзья выручили, Алик и Соня Учителя. Я вспомнил, что в марте, когда навещал в Кривом Роге маму, перепечатал в одном экземпляре тридцать с чем-то стихотворений новых и подарил им. Позвонил, объяснил, в чем дело. И они, буквально дня через три, прислали мне бандеролью эту переснятую на ксероксе компактную машинопись. Как хорошо, согласитесь, что есть такие вот чудесные люди на свете! Где сама рукопись – не знаю. Но начало новой книги – опять со мной, и, думаю и надеюсь, появится и продолжение. Книга ведь сама говорит, когда ее надо записывать. Тогда, когда я ее слышу, звук ее слышу, и когда вижу очертания, как некое кристаллическое образование, как соты.

Я не утомил вас? Отвык разговаривать. С годами косноязычным стал. Говорю с пятого на десятое. Нет? Ну, ладно. А то у меня все слова туда, в писа-

ния мои, уходят. Эх, помните, когда я молодой был, как мы с вами, бывало, говорили! И сейчас хорошо говорим? Ну что же, значит, так и есть. Я – то сам, прежде всего, слушать именно вас рад всегда.

Но, раз вам хорошо со мной, а мне так уж точно очень хорошо с вами вот так, по старинке, сидеть себе рядышком да разговаривать, можно это занятие и продолжить.

Вы помните тот занятный эпизод, с Нобелевской премией?

Тогда, примерно в мае или в самом начале лета девяносто шестого года, навестил я вас, как всегда, вместе с другом Ишкой. Мы сидели у вас на веранде, я – напротив вас, как обычно, и о чем-то говорили, допустим – о погоде.

Как всегда, присутствовал на веранде и народ, ваши гости и постояльцы, причем в изрядном количестве, но это нам нисколько не мешало.

Диалог наш длился, и постепенно от погоды мы перешли к более высоким материям.

И вдруг пришел некто, не помню уж, кто именно, – и принес газету. «Независимую».

Старую, уже затрепанную. Кажется, еще апрельскую.

Этот некто, не обращая ни на кого, в том числе и на меня, никакого внимания, с порога ринулся к вам, тыча пальцем в газетную, слегка пожелтевшую, сложенную вчетверо полосу, где я успел заметить собственную фотографию.

Некто размашистым жестом протянул вам газету – и, слегка даже заикаясь от волнения, изрек срывающимся голосом, в котором наигранный пафос граничил с таким изумлением, какого он, видимо, сроду не испытывал:

– Алейников!.. Нобелевская!..

Разговоры за столом, чаепитие, дегустация разливного совхозного портвейна и прочие процедуры сразу прекратились.

Все оторопели. А кое-кто и просто онемел, так и остался сидеть с открытым ртом.

Вы же спокойно взяли в руки газету, посмотрели, что там напечатано, и сказали:

– Здесь написано: «Недавно стало известно, что обсуждается вопрос о выдвижении Алейникова на соискание Нобелевской премии».

Напомню, что в этой газете было опубликовано интервью со мной, поскольку год был у меня юбилейный, мне исполнилось пятьдесят лет, – а сверху, над текстом интервью, помещена была так называемая врезка, где вкратце говорилось о том, кто я такой, какова моя деятельность и так далее.

Я попытался было объяснить все это гостям, но никто меня не слушал.

Народ вел себя так, будто я эту премию уже получил.

На меня смотрели с почтением, так, будто я стал, например, выше ростом на несколько голов, или пришел сюда, весь увешанный орденами, или в короне на голове, с державой и скипетром в руках, в горностаевой мантии на плечах.

Надо же, как действуют на людей подобные известия!

Было мне и смешно, и грустно.

Я переглянулся с вами и увидел, что вы реагируете на все происходящее сходным образом.

Вокруг ваших глаз уже собирались лучистые морщинки улыбки.

В это время на веранду ввалилось еще человек десять гостей. Один из них ташил на плече внушительных размеров видеокамеру, а под мышкой нес раздвижной тренажник.

За ним шла покрашенная дама в темных очках и несла сумку с кассетами и микрофон.

Их встретили криками:

– Алейников!..

– Премия!..

– Нобелевская!..

Мужик с видеокамерой, ни минуты не мешкая, установил свое съемочное орудие на тренажник – и, бросив короткий взгляд в ту сторону, куда ему указывали разволновавшиеся посетители веранды, то есть на меня, принялся меня снимать.

Я попытался было объясниться с публикой еще разок, но куда там!

Картина получалась такая, что хоть караул кричи.

Девушки в купальниках, только что вернувшиеся с моря, придирчиво расспрашивали меня, сколько же я теперь денег отхвачу.

Проснувшиеся от шума похмельные молодые ребята предлагали всем скинуться и широко отметить событие.

Какой-то щуплый мужичонка, – поэт-юморист из Старого Крыма, как оказалось, – пробивался ко мне, издали еще призывая меня помочь ему издать книгу.

А тут еще подъехала машина – и на веранду завалилась компания из Феодосии.

Видя весь этот бедлам, вы встали с места.

Все затихли.

Вы сказали публике:

– Я считаю, что Володя Алейников достоин не только Нобелевской премии, но и большего.

Публика выжидающе слушала.

Вы продолжили:

– В газете сказано: «обсуждается вопрос о выдвижении». Это ведь не значит еще того, что премия у Володи в кармане. Такое дело так вот сразу не делается. Придется и подождать. Поняли теперь, что к чему?

Но публика – не хотела понимать.

У нее появился повод для выпивки и всеобщего веселья.

Вы поглядели на своих гостей, махнули рукой и сказали, обращаясь только ко мне:

– А впрочем... Пусть веселятся!.. Володя, я рада. Все у вас будет хорошо. Вы только работайте, пишите. Остальное произойдет само собой. Вы знаете давно, как я люблю вашу поэзию и верю в вас. Давайте-ка посидим вот здесь, в сторонке, рядом.

И мы присели в сторонке. И я рассказал вам, сколько хлопот доставили мне эти газетные извещения о полагающейся мне Нобелевской премии.

На родине, в Кривом Роге, земляки тоже решили, что премию я уже получил. Маме непрерывно звонили, поздравляли. У нее хватало юмора, чтобы отвечать как надо, но и она вскоре устала от звонков.

Моя учительница украинского языка и литературы, Евгения Григорьевна, ликуя, сказала ей:

– Мария Михайловна, поздравляю вас! Бунин – и наш Володя. Два нобелевских лауреата. Замечательно! Я счастлива!..

И уже невозможно было переубедить людей, им нравилось верить в то, что премию я получил.

И так далее. Такая вот была история...

Вы улыбались, и я видел, что вы сами верите в эту премию.

Опять почитать вам? Не поздно ли? Никогда не поздно? Хорошо. А что же? Вы знаете, сколько их у меня, этих стихов. Да, вы это лучше других знаете. Какое стихотворение? Ах, это? Да, пожалуй. Вы правы, в книгах девяностых годов оно – одно из ключевых. Вот, послушайте.

Мне знать о том сегодня не дано, кто книгу эту в будущем откроет, кто душу несговорчиво настроит на то, что было слишком уж давно. Подобие воздушного моста протянется незримо между нами – и с новыми сомкнутся временами слова мои – наверно, неспроста. Ну, здравствуй, здравствуй, – сердце отвори навстречу лихолетью и печали, где речь мою впотьмах не замечали, хотя она светилась изнутри. Прислушайся к дыханию в ночи, взглядись

туда, где больше, чем у прочих, кипело чувств, до шума не охочих, – пойми и помни, помни и молчи. И незачем, пожалуй, объяснять, чего когда-то стоило все это – весь этот мир, где таинства и света довольно, чтоб вселенную обнять. И, светом этим издали ведом и таинства почувствовав биенье, ты сам придешь ко мне хоть на мгновенье сюда, где дух мой жив и прочен дом.

Нам с вами говорить, Мария Николаевна, можно еще и еще. И читать вам стихи – это всегда радость для меня. Какой вы все-таки светлый-пресветлый человек! Мы общаемся, и у нас вроде происходит какой-то благотворный взаимообмен энергиями, я это чувствую. А вы? Вы давно это знаете? Да, особенный, совсем особенный вы человек в моей жизни. И в судьбе. Вы говорите, что нам пора прощаться? Нет, я-то не устал. Это я вас должен беречь и щадить. Все-таки пора? Ну, хорошо. Бог в помощь вам, дорогая Мария Николаевна, – там, где вы сейчас живы. И вы мне говорите – с Богом.

